

Л. АЛЛЕН

## «КРОТКАЯ» И САМОУБИЙЦЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО

Просто грубые натуры истребляют  
себя самоубийством лишь от матери-  
альной, видимой, внешней причины.

*Ф. М. Достоевский «Два самоубийства».*

Проблема самоубийства проходит через все творчество Достоевского.\* Самоубийство у него далеко не однозначное явление. Оно принимает разные формы и объясняется иногда противоречивыми, а то и совершенно противоположными причинами. Ведь если в основе самоубийства всегда оказывается депрессивное состояние, то не всякая депрессия приводит к самоубийству. Глубокое своеобразие трактовки этой темы у Достоевского заключается в том, что психологической мотивировке самоубийства придается сильная метафизическая окраска. Рассуждения метафизического свойства определяют в конце концов переход к действию.

Диапазон этих метафизических рассуждений весьма велик, и на почве таких существенных вариаций можно, вероятно, установить достаточно сложную типологию. Эта типология сводится, на наш взгляд, к трем основным категориям.

Первая категория (наиболее существенная) определяется материалистическим отказом от Бога, приводящим в своих крайних проявлениях к удушливой, смертельной скуке.

Достоевский обобщает свои воззрения на этот счет в «Дневнике писателя» за 1876 год. По-своему толкуя обстоятельства, окружавшие трагическую кончину дочери Герцена, он выдвигает на первый план возмущение «против „прямолинейности“ явления»: «Значит, просто умерла от „холодного мрака и скуки“, с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить, вроде того, как бы воздуху не достало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного...» (23, 145—146).

---

\* См. также: *Paperno I. Suicide as a Cultural Institution in Dostoevsky's Russia. Ithaca; London, 1997.*

Побочной, но решающей причиной такого типа самоубийства является негодование «на „глупость” появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя помириться» (23, 145). Этот побочный мотив становится преобладающим аргументом в статье «Приговор» в том же октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год. Статья выдается целиком за «одно рассуждение одного самоубийцы *от скуки*, разумеется, матерьялиста». Она вся построена как обвинительный акт против глухой и глупой природы со своими всесильными, вечными и мертвыми законами, которая не имела права «производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего». Ведь счастья не может быть на земле «под условием грозящего завтра нуля». Ибо «планета наша не вечна, и человечеству срок — такой же миг, как и мне». Жизнь, таким образом, лишена всякого смысла и единственно достойный выход для человека перед лицом природы, «которая так бесцеремонно и нагло» произвела его на страдание и которую он истребить не может — это истребить «себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого» (23, 146—148).

Поражает тот факт, что в «Приговоре» выделяется особая категория людей, которые счастливы на свете и «соглашаются жить»: «Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить» (23, 147).

Принцип пресыщенности, доходящий до тошноты, впервые воплощается Свидригайловым в «Преступлении и наказании». «J'ai le vin mauvais,<sup>1</sup> — говорит он, — и пить мне противно, а кроме вина ничего больше не остается. Пробовал» (6, 218). Даже при довольно развитом сознании Свидригайлов «дальше *брюха*» ничего не получает.<sup>2</sup> И если предположить, что вечность существует, то она должна быть тошнотворной: «представь себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» (6, 221). Не вытерпев мутной беспросветности жизни, Свидригайлов покончит с собой: «Молочный, густой туман лежит над городом» (6, 394).

В свою очередь Ставрогин покончит с собой из-за *пресыщенности* и отсутствия сильных жизненных чувств: «Мои желания слишком несильны; руководить не могут (...) Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата (...) Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо

<sup>1</sup> «Я в пьяном виде нехорош» (*фр.*).

<sup>2</sup> См.: «В самом деле: что станет делать лучшего человек, *всё* получивший, *всё* сознавший и всемогущий? Если вы его оставите в раздробленном на личности состоянии, то вы дальше *брюха* ничего не получите» (20, 192).

всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Всё всегда мелко и вяло» (10, 514).

В своем прощальном письме Даше Ставрогин признается, что боится самоубийства, ибо боится «показать великодушие» (там же). Но невыносимая *пресность бытия* одерживает верх над этим страхом. Она материально символизируется тривиальными аксесуарами состоявшегося самоубийства.

Самоубийства Свидригайлова и Ставрогина — акты, выдающие побуждения субъективного свойства. Речь идет об отказе от любого лояльного договора, заключаемого с кем-нибудь о чем-то. В обоих случаях *уход* из жизни может истолковываться в поведенческом отношении как *отказ от всякой морали*. По всей видимости, именно этот отказ от всякой морали, полностью совместимый в таких условиях с *отказом от всякого мужества или великодушия*, взял окончательно верх над *боязнью самоубийства*.

Самоубийство Кроткой в одноименной повести диаметрально противоположно по своим свойствам и обстоятельству самоубийству Свидригайлова или Ставрогина. Тут нет и следа пресыщения жизнью или экзистенциальной тоски от пресности бытия. Кротость в взрывном сочетании с отчаянием является центральной темой «фантастического рассказа», написанного под впечатлением злободневного события. Кротость определяет самоубийство, лишенное отрицания. По своей сути такой вид самоубийства не является бунтом ни против Бога, ни против Творения. Он является криком о помощи, сигналом бедствия — это обратный акт любви, скрытая мольба.

Такой сигнал с его явными религиозными коннотациями сопровождается «странной и неслыханной еще в самоубийстве чертой» (23, 146). Петербургские газеты, сообщавшие обстоятельства смерти «бедной молодой девушки, швеи», которая «выбросилась из окна, из четвертого этажа», прибавляли, что она «упала на землю, держа в руках образ (...)». Это уж, — комментирует Достоевский, — какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, „Бог не захотел” и — умерла, помолвившись» (там же).

Между негативным типом самоубийц, воплощающих принцип отрицания, отвергающих жизнь как таковую, выражающих презрение и ненависть к любому созданию, и крайне смягченным вариантом самоубийства Кроткой существует некая промежуточная категория «идеологических» самоубийц, у которых «логика» вступает в конфликт с самой жизнью.

К этой категории принадлежит Ипполит из романа «Идиот» и Кириллов из романа «Бесы». К ней косвенно принадлежит и Раскольников, который в первоначальном замысле автора должен был застрелиться. В последнем случае будет небезынтересно установить, по каким соображениям Достоевский отверг в конце концов этот финал.

«Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины...» (8, 247), — заявляет Ипполит, который, впрочем, питает особое пристрастие к деревьям в листьях (8, 239). В своем необходимом объяснении, которое вышло из логической цепи выводов, Ипполит признает, что он между тем «никогда, несмотря даже на всё желание (...) не мог представить себе, что будущей жизни и Провидения нет» (8, 344). Итак, почему же он решает застрелиться, несмотря на то что он уже без того «приговорен к смерти» своей чахоткой? Потому, что «есть такой предел позора в сознании собственного ничтожества и слабосилия, дальше которого человек уже не может идти» (8, 343). Виноваты «законы природы», которые не дают человеку жить по-настоящему. Виновата стена «Мейерова дома» (8, 247), виновата та «темная, наглая и бессмысленно-вечная сила, которой всё подчинено» (8, 339), включая Христа, виновата «темная сила, принимающая вид тарантула» (8, 341).

В представлении Ипполита природа враждебна человеку и не считается с его существованием. Она не устроена для него. «Крошечной мушке» она благоволит, а человек, оказывается, не включается в общий план бытия: «Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот теперь эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастлива, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять это!» (8, 343).

Фраза Ипполита о мушке в горячем солнечном луче, которая знает свое место и в общем хоре участница, а он один только выкидыш, глубоко запала в душу князю Мышкину. Она впоследствии вызовет у него «одно давно забытое воспоминание»; оно «зашевелилось в нем и вдруг разом выяснилось»:

«Это было в Швейцарии, в первый год его лечения, даже в первые месяцы (...) Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию (...) Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать (...) И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немом; но теперь ему казалось, что он всё это говорил и тогда, все эти самые слова, и что про эту „мушку“ Ипполит взял у него самого, из его тогдашних слов и слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли...» (8, 351—352).

Такая переключка мыслей между самоубийцей Ипполитом и «посланцем» Христа на земле князем Мышкиным невольно поражает своей загадочностью. Она по крайней мере свидетельствует о затруднении самого автора решить роковой вопрос о том, насколько человек *сознающий* способен ужиться на земле, и при каких обстоятельствах и условиях.

Если Ипполит отличается душевной добротой и сочетанием высокого ума с порой чуть ли не детской наивностью, то «великодушному», по определению Ставрогина, Кириллову присущи чистосердечие, нежность и тихость. «Кириллов всё чай пьет по ночам, — метко наблюдает Вячеслав Иванов, — чаепитие — симптом русского медитативного идеализма...».<sup>3</sup> Он любит детей и, как признает в диалоге со Ставрогиным, «любит и жизнь». Он даже зажигает лампадку перед иконой, чтобы угодить хозяйке (10, 188—189). Кириллов является одновременно живым примером самого совершеннейшего атеизма и непреложным доказательством того, что чистый атеизм (т. е. без примеси капли веры) не только не существует, но и невыносим. Путь, неотразимо ведущий его от атеизма к самоубийству как высшему проявлению атеизма, определяется самим Кирилловым в качестве наглядного примера необходимого перехода всего человечества от культа Богочеловека к утверждению человекобога в целях «перемены земли и человека физически». Кириллов решительно отмежевывается от обыкновенных самоубийц: «...всё не за тем, всё со страхом и для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог станет» (10, 94). Вся сложность, в глазах Кириллова, заключается в том, что «в теперешнем физическом виде, сколько я думал, нельзя быть человеку без прежнего Бога никак» (10, 472). Этим объясняется тот факт, что, когда в трагическую минуту Кириллов вдруг перестает отклоняться от рокового сочетания, связывающего жизнь и смерть, его поведение внезапно меняется. Достоевский дважды подчеркивает, что перед самым самоубийством Кириллов открыл форточку и что он застрелился у самого окна в струе свежего воздуха (10, 475—476).<sup>4</sup> Этим чисто символическим намеком автор, по-видимому, хотел показать, что, пусть подсознательно, стремление к жизни, к существованию не покинуло Кириллова даже в самые последние минуты. Он уходит в небытие, оставаясь в плену своего ложного представления, и в то же время в противоречии с логикой минуты восхваляет тот мир, который цветет за форточкой его комнаты, и отрицает его отрицание, чтобы утвердить живую жизнь и, стало быть, «прежнего Бога».

<sup>3</sup> *Иванов Вяч.* Экскурс: Основной миф в романе «Бесы» // *Иванов Вяч.* Собр. соч.: В 4-х т. Брюссель, 1987. Т. 4. С. 443.

<sup>4</sup> См. замечание А. Л. Вольнского по этому поводу: *Вольнский А. Л.* Ф. М. Достоевский: Критические статьи. СПб., 1909. С. 328.

Лишний раз Достоевский подчеркивает связь между бытием и стихией. Среди его самоубийц отношение к стихии играет решающую роль. Если он отвергает в конце концов задуманный «финал романа» «Преступление и наказание»: «Раскольников застрелиться идет» (7, 204), то это объясняется логическим выходом к закону стихии, т. е. в данном случае к закону земли. Раскольников слишком полон жизни, чтобы не ухватиться в роковой момент выбора за мудрый совет Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил,<sup>5</sup> и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“» (6, 405).

Ведь только через стихию можно общаться с людьми и при случае опять примкнуть к ним. Ибо другие люди тоже причастны к стихии, как природные обитатели космоса. Все люди — космические существа, космос равняется Божьему творению, и только через «соприкосновение мирам иным» можно найти «корни наших мыслей и чувств».<sup>6</sup>

Если буквально в последнюю секунду *своевременное* отсутствие капсюля в карманном револьвере Ипполита мешает ему застрелиться «при всех» («Раздался резкий, сухой щелчок курка, но выстрела не последовало» — 8, 349), то истолковывать это обстоятельство следует не как заранее обдуманное намерение, а как Божью милость (на сей раз «Бог не захотел»). Что спасло Ипполита от рокового жеста? Должно быть, два обстоятельства, которые были отмечены выше: любовь к людям и особое пристрастие к «деревьям в листьях» (8, 239, 247).

Свидригайлов и Ставрогин добровольно порвали всякую связь и с людьми, и с землей. Оба прекрасно сознают, куда идут, т. е. в никуда. Свидригайлов нарочно приехал в Петербург, чтобы там и умереть (6, 222). Ставрогину не нужно добираться до «кантона Ури» («Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное» — 10, 513), для того чтобы понять фундаментальную истину: «тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели» (10, 514). Кириллов слишком поздно осознал значение стихии (струи воздуха), чтобы спастись, но зато, кажется, ценой собственной жизни он оправдал диагноз, поставленный его однофамильцем, епископом Тихоном, который носил в миру фамилию Кириллов: «Совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли)» (11, 10). По

---

<sup>5</sup> Ср. слова старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, всё люби, ищи восторга и иступления сего» (14, 292). См. также статью Р. В. Плетнева «Земля» (О Достоевском / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1919. Т. 1. С. 153—162).

<sup>6</sup> См.: «Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных» (Из бесед и поучений старца Зосимы — 14, 290).

всей вероятности, Кириллов, кончая с собой, перешагнул эту «последнюю верхнюю ступень».

Интересно отметить, что теме *погружения в космос как пути приобщения к другому человеку* Достоевский посвятил отдельный «фантастический рассказ» «Сон смешного человека». Пережитое во сне самоубийство приводит героя в межзвездные пространства, где он замечает «звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском»: «И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагоприятных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной» (25, 111).

*Восторженная любовь* к вновь открытой *родной прежней земле* излечивает Смешного человека ото всех его злых помыслов, он открывает вдруг для себя других людей, ставших внезапно подлинными ближними. Эти подлинные ближние символизируются здесь образом «бедной девочки, которую я обидел»: «...живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит (...). Главное — люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться (...). Если только все захотят, то сейчас всё устроится. А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!» (25, 118—119).

В свете такого анализа легко установить, что Кроткая без вины виновата, поскольку, во-первых, ее любящему сердцу *некого любить*,<sup>7</sup> а во-вторых, *путь к стихии для нее отрезан*. Она глухо, беспомощно тоскует по космосу, и единственное оставшееся у нее средство, чтобы слиться с ним воедино, — броситься в окно. В силу антропологического принципа многопричинности, собственного Достоевскому, к этим двум определяющим факторам добавляется еще третий — материальная нужда. Хотя Достоевский склонен преуменьшать важность чисто материальных обстоятельств, являясь решительным противником формулы «среда заела», он допускает в иных случаях решающее влияние среды на некоторые печальные явления.

Так, например, в «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович заявляет Разумихину: «Нет, брат, ты врешь: „среда“ многое в преступлении значит; это я тебе подтверждаю». И на возражение Разумихина: «И сам знаю, что много, да ты вот что скажи: сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку, — среда,

---

<sup>7</sup> Ср. со словами старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»: «Отцы и учителя, мысля: „Что есть ад?“. Рассуждаю так: „Страдание о том, что нельзя уже более любить“» (14, 292).

что ль, его на это понудила?». Порфирий спокойно отвечает: «А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда, — с удивительно важностью заметил Порфирий, — преступление над девочкой очень и очень даже можно „средой“ объяснить» (6, 197).<sup>8</sup>

Обделенная судьбой, Кроткая является как бы концентрацией мировой несправедливости. Уже в «Бедных людях» автор восклицал устами Макара Девушкина: «Отчего это так всё случается, что вот хороший-то человек в запустенье находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю (...), что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем одному еще в чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно (...), оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет» (1, 86).

В творчестве зрелого Достоевского нет прямой связи между трудным материальным положением и возможным метафизическим бунтом. Так, например, в «Преступлении и наказании» Раскольников и Разумихин поставлены в одни и те же условия крайней бедности. С годами присущая Федору Михайловичу чувствительность к несправедливости переключается целиком в область онтологии. И в такой области горькие слова Макара Девушкина подлежат напрашивающейся перефразировке. В самом деле, *почему* одному достается полнота бытия, природная вера в Промысел Божий, «тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим» (14, 290), а другому «дарован» «душевный мрак» (8, 188), неспособность к вере, глухая тоска по космосу.<sup>9</sup> Хотя Достоевский прекрасно знал, что ответ, если только он существует, не от мира сего, он, по-видимому, не мог смириться с таким положением вещей. В этой невозможности «смириться» лежит один из главных источников его драматического пафоса. Самоубийцы являются как бы загадочными *издержками* Творения.

---

<sup>8</sup> См. также статью «Дневника писателя» за 1876 год (январь): «Российское общество покровительства животных. Фельдгегерь. Зелено — вино...» (22, 26—31).

<sup>9</sup> Интересно отметить любопытное рассуждение Свидригайлова: «Привидения — это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир» (6, 221). В разговоре с Кирилловым в «Бесах» Ставрогин обнаруживает устремленность к другим планетам (10, 187).

«Самоубийц миллионы были», — замечает в «Бесах» хроникер в беседе с Кирилловым (10, 94). В романном творчестве Достоевского число самоубийц не так уж велико, но зато мотив самоубийства неизменно проходит по всем его пяти романам-трагедиям и временами обостряется до крайнего предела. Самоубийство является как бы «*logique impensée*», по выражению Ролана Барта,<sup>10</sup> «немысленной логикой» всего творчества Федора Михайловича.

Интересно отметить, что самоубийство у Достоевского — чисто мужской атрибут. Женщины, в представлении писателя, стоят ближе к стихии, к душе матери-земли.<sup>11</sup> Поэтому самоубийство дочери Герцена — самоубийство чисто мужского типа. Неудивительно, что обстоятельства такого самоубийства дали прямой повод к написанию статьи «Приговор».

Совсем другое дело — самоубийство бедной швеи Марьи Борисовой, которое вдохновило Достоевского на один из самых блестящих его художественных шедевров. Этот единственный случай чисто женского самоубийства вызвал у Федора Михайловича великое недоумение и пронзительную скорбь. С тех пор как в рассказе Кроткая начинает петь в отсутствие мужа, слышится приглушенный звук похоронного марша. Еще при жизни справляется панихида по ней. И вот одним существом стало на свете меньше. Смерть ее не обезобразила: «...ничего не размозжила, не сломала! Только одна эта „горстка крови“ {...}. Внутреннее сотрясение» (24, 35).

Тут все детали насыщены символическим значением. Будучи не жилицей на этом свете («горстка крови»), она во всей красе прямо перешла «в другой мир».

---

<sup>10</sup> Barthes R. Fragments d'un discours amoureux. Paris, coll. «Tel Quel». Seuil, 1977. P. 16.

<sup>11</sup> См. главу XIII «Вечно женственное» моей книги «Штрихи к портрету Ф. М. Достоевского: Опыт психологического анализа» (СПб., 1998). С. 90—98.